

**Евгений Андреевич Салиас де
Турнемир**

Аракчеевский сынок

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.3
ББК 84-4
Е14

Е14 **Евгений Андреевич Салиас де Турнемир**
Аракчеевский сынок / Евгений Андреевич Салиас де Турнемир – М.: Книга
по Требованию, 2012. – 222 с.

ISBN 978-5-458-04524-7

«Аракчеевский сынок», «Аракчеевский подкидыш» – романы Е.А.Салиаса (1840–1908 гг.), популярного писателя, которого современники называли «русским Дюма», впервые опубликованы в журнале «Исторический вестник» за 1888–1889 гг. В центре повествования молодой красавец-офицер, любимец общества, которому все сходит с рук благодаря его влиятельному отцу. Интрига, любовь, веселые пирушки, дуэли делают сюжет занимательным и интересным.

ISBN 978-5-458-04524-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Евгений Андреевич Салиас
Аракчеевский сынок

I

Шел 1824 год; был август месяц. Далеко за полночь, среди заснувшего Петербурга, лишь одна Большая Морская была еще довольно изрядно освещена десятком тусклых фонарей с закоптелыми стеклами, но была пустынна из конца в конец. Все спало здесь давно, так же как и во всей столице... Лишь изредка гроыхала гитара-дрожки ночного извозчика, и в них, сидя верхом, как на коне, тащился домой запоздавший обыватель... Пешеходов почти не было... Холодный порывистый ветер и крупный дождь одни бушевали на дворе. Только в одном месте, на углу узкого и темного переулочка, упиравшегося в огромное недостроенное здание — было несколько светлее и люднее.

Здесь, близ парадного крыльца, освещенного большим фонарем, стояло несколько экипажей; но лишь одни промокшие кони невольно бодрствовали, двигались, встряхивались, фыркали, били копытами о землю. Кучера, все без исключения, кутаясь и ежась от непогоды, дремали или крепко спали по своим козлам, как на дрожках, так и на больших колымагах... Два форейтора на передних лошадях двух карет, запряженных цугом, тоже дремали в седлах, распустив поводья и сбросив стремяна.

Сборище, гости и ночное пированье были здесь, в квартире второго этажа, — явлением обычным. Соседи-обыватели привыкли к тому, что почти каждую ночь, чуть не до рассвета, на улице, у подъезда угольного дома, бывалолюдно, а в самой квартире илюдно и чересчур иногда шумно. Все знали, конечно, что это «господа офицеры гуляют у известного питерского блазня».

В эти времена, гвардия отличалась и славилась буйными кутежами, с особенной распушенностью нравов и поступков. Жалобы на самодурство, уличные дерзости и публичные оскорбительные шалости, слышались отовсюду во всех слоях общества. Говор и ропот по поводу буйных выходок гвардейцев часто достигали и до слуха государя Александра Павловича, но лишь изредка виновные наказывались, да и то сравнительно легко, и всякого рода соблазны шли, конечно, своим чередом.

Некоторые из офицеров стали известны дикими, иногда оскорбительными, выходками и были своего рода знаменитостями. Их звали «публичными блазнями», всячески избегали в общественных местах из чувства самосохранения; но с дикостью и безнаказанностью поведения этих «блазней» приходилось мириться поневоле.

И только за последнее время одно новое «колесо» этих блазней заставило общество несколько встрепенуться и начать снова громко роптать. Дело было несколько «изряднее» прежних и напугало отцов семейств. Случилось, что одна молодая девушка, красавица, только что вышедшая из института, исчезла во время одного бала и пропадала без вести в продолжение трех суток. Найденная полицией в большой квартире, никем не нанятой и даже не меблированной, девушка оказалась жертвой трех неизвестных ей обольстителей, которые ее обесчестили и бросили запертою в пустой квартире. Единственное, что знала несчастная и могла доказать обвязанным на ее руках военным шарфом, что злодеи были гвардейцы.

Но виноватых не нашлось...

В доме, на Большой Морской, у которого ночью стояло столько экипажей, жил один из самых известных кутил-шалунов и блазней. Это был артиллерийский офицер Шуйский, всему Петербургу лично знакомый по двум причинам. Во-первых, он чуть не еженедельно совершал какое-нибудь буйство или скандал, т. е. «выкидывал колена» на потеху товарищей и «острастку публики». Во-вторых, это был побочный сын всемогущего временщика, графа Аракчеева. Признанный гласно и открыто, любимый безгранично и избалованный донельзя своим отцом – Шумский мог творить в столице безнаказанно все, что только могло прийти в его беззаботную голову.

Единственным утешением его врагов, а их было, конечно, много – оставалась одна надежда, что Михаил Шумский хватит через край... зарежет или убьет кого-нибудь в трактире, или в театре, на глазах у всех. И вдобавок не кого-либо из простых смертных... Авось тогда в ответ пойдет.

Разумеется, всякие поступки, неблагоприятные или преступные, совершенные неизвестными «шалунами» или «блазнями», относили на счет «Аракчеевского сынка».

Шумский это знал, но когда случалось, что его обвиняли в глаза за чужое дело, – он не оправдывался, и отвечал, смеясь, равнодушно:

– Не знаю... Не помню... Может и я, в пьяном виде.

Когда, грозный для всех, но не для него, временщик-отец спрашивал у баловня-сына: он ли это «наболванил» или «прошумел» в столице, то Шумский отвечал отцу французской поговоркой:

– On prete au riche!..¹

Это был не ответ, не признание и пожалуй не опровержение, но граф Аракчев бывал удовлетворен и только легко журил любимца на один и тот же лад:

– Полно дурить... Пора бы давно за дело... Не махонький!..

Но если у вертопраха и кутилы было много врагов, то было и много друзей среди молодежи гвардии, а равно и в среде людей пожилых и почтенных. Если некоторые из них были ложными друзьями из личных выгод, чтобы пользоваться его средствами или через него фавором его отца, то были люди искренно его любившие... Всего более, конечно, молодежь-офицеры... Шумский был «хороший товарищ» – термин все извинявший и непонятный статскому... Молодой офицер получал от своего отца достаточно денег, чтобы жить очень широко, и тем не менее, делал долги. Одни эти сборища товарищей по вечерам стоили дорого, а между тем это был самый меньший из его расходов. Всего более уходило на кутежи в трактирах и на карты. Шумский не любил азартные игры, но играл поневоле, так как это было принято, было модой. Молодой человек, не играющий или не пьющий, подвергался всеобщим насмешкам товарищей и почти презрению. Всякий офицер обязан был пить, играть и любовные шашни иметь...

В этот вечер в квартире общего приятеля и «кормильца» Михаила Андреевича было менее шумно и менеелюдно, чем обыкновенно. Некоторые из друзей, заглянув сюда перед полуночью, уехали, а оставшиеся разместились в двух горницах, и, переговариваясь вполголоса, вели себя несколько сдержанно и мало пили.

На это была немаловажная причина. Хозяин был не в духе, озабочен и слегка гневен. А когда Шуйский бывал в таком настроении духа, то был придирчив, оскорблял без всякого повода, а иногда и просто выгонял от себя и переставал

знаться и кланяться.

Все товарищи, которые были по своему положению независимы от него, разумеется, избегали его в такие минуты, не желая подчиняться его нелепым вспышкам и причудам и равно не желая из-за пустяков ссориться. Оставались и сносили все покорно те из приятелей, которые были в зависимости, пользовались деньгами или покровительством аракчеевского баловня.

В одной из горниц побольше, вокруг стола, на котором перемешались в беспорядке посуда, бутылки и остатки ужина, сидело человек пять офицеров без сюртуков, с длинными чубуками в руках. Почти все курили, и дым сплошным облаком навис и стоял над столом и головами собеседников.

Общий говор прекратился давно, и все молчаливо слушали тихое и мирное повествование плотного и толстолицего офицера, с брюшком, известного рассказчика в столице. Это был семеновец, уроженец Киева, полурусский, полухол, добродушный, умный, подчас очень острый человек, капитан Ханенко.

Он рассказывал о Сибири, где прожил два года...

В соседней горнице было также тихо, хотя и там сидело у зеленого стола около полудюжины игроков. Банкомет, поляк Сбышевский, молча и даже на вид угрюмо сидел неподвижно в большом кресле и только правая рука его едва-едва шевелилась, выбрасывая карты направо и налево... Понтеры кругом стола, кто сидя, кто стоя, лишь изредка выговаривали однозвучно по два, по три слова, почти исключительно термины игры или цифру куша, ставки... или просто бранное слово... На этот раз здесь играли не ради удовольствия и не ради корысти, а в силу привычки и чтобы убить время. Главные вожаки-картежники отсутствовали, а богачи, часто в пух проигрывавшиеся у Шумского в квартире, тоже разъехались по другим вечеринкам.

II

В третьей, угловой и маленькой горнице, спальне, с огромной кроватью красного дерева, где могли улечься просторно три человека, сидел за столом молодой человек лет 25-ти и медленно писал, тихо, как бы бережно, выводил буквы; около него был на столе не тронутый ужин, два блюда, и не раскупоренная бутылка вина.

Он уже давно угрюмо писал письмо, часто останавливался, задумывался и, как бы вдруг придя в себя, почти с удивлением взглядывал на лист бумаги и на гусиное перо, которое вертел в руке и бессознательно грыз зубами.

Это был сам хозяин квартиры, Михаил Шумский. Лицо его, чистое, но несколько смуглое, было бы красиво, если бы не какая-то сухость во взгляде и в тонких вечно сжатых губах. Пронзительно неприязненный взгляд карих глаз и легкая полуулыбка, или скорее складка, в этих стиснутых губах, дерзкая, презрительная, даже ядовитая – производили неприятное впечатление...

При знакомстве, с первого раза, всегда, всякому, казался он крайне злым человеком, чего не было на деле. Он был «добрый малый», делавший иногда зло из распушенности, необдуманно, бессознательно, с легким сердцем и спокойной совестью. Он не привык и не умел себя сдерживать ни в чем и, увлекаясь, был равно способен и на чрезвычайно доброе дело и на безобразно злой поступок, не честный, или даже жестокий...

Теперь он уже давно сидел тут, один...

После глубокого и долгого раздумья, Шумский снова пришел в себя и, увидя писанье свое и перо, нетерпеливо дернул плечами.

– Ах, черт, его поberi! – вымолвил он едва слышно. – Эти послания хуже всякой каторги. И кой леший выдумал грамоту. А главное, как писать, когда нечего сказать... Какого черта я ему скажу?! Написать ему вчерашние Петькины вирши: «Я б вас любил и уважал, когда б в могилу провожал»...

И обождав немного, Шуйский написал две строчки, расписался и так расчеркнулся, что перо скрипнуло, хрястнуло и, прорезав бумагу, забрызгало страницу сотней мелких чернильных крапинок.

– Ну, ладно... переписывать не стану! – воскликнул он и, тотчас же положив письмо в конверт, крикнул громким, звучным голосом:

– Эй! Копчик!

Чрез мгновенье явился в горницу молодой малый, лет 18-ти, красивый и бойкий, и несколько фамильярно подошел к самому столу, где писал Шумский. Это был его любимец, крепостной лакей, не так давно прибывший из деревни, но быстро осмелевший и «развернувшийся» среди столичной жизни.

– Что изволите? – выговорил он, улыбаясь.

– Что они там?...

– Ничего-с.

– Никто еще не уехал?

– Никак нет-с. Поели, попили, а еще сидят, – вымолвил лакей, снова лукаво улыбаясь. – Знать до вас дело какое еще есть... Переживают.

– Ну, это дудки! Вызови мне тихонько Квашнина. Да ты, Вася, сам-то спать бы шел, – ласковее прибавил барин вдогонку выходившему уже лакею.

Василий, прозвищем Копчик, обернулся быстро на пороге горницы лицом к барину и, действительно, ястребиным взором окинул Шумского.

– Вы так всегда рассказываете, Михаил Андреевич; а ляг я, когда у вас гости... эти все сидят... что будет?.. Вы же поднимете палкой или чубуком по спине и крикнете: «Чего дрыхнешь, скот, когда господа на ногах». Нешто этого не было?!

– Правда твоя, Васька, бывало... под пьяную руку. Ну, иди... зови Квашнина! – равнодушно отозвался Шумский.

Через минуту в спальню вошел высокий, стройный, белокурый и голубоглазый офицер в мундире Преображенского полка...

Это был первый приятель Шумского и вероятно потому, что был совершенной его противоположностью, его антиподом, и внешностью, и характером, и привычками.

Все было в Квашнине приятно, ласково, как-то мягко... Мягкий взгляд больших и добрых глаз, мягкость в голосе и во всех его движениях. Он даже ходил и двигался тихо и плавно, точно осторожно и мягко ступал ногами, как бы вечно опасаясь поскользнуться и спотыкнуться.

Этот же самый голубоглазый офицер, с ярким румянцем на белых как снег щеках, был «золотой человек» во всяком затруднительном обстоятельстве, во всяком мудреном деле. Он обладал даром, как говорили товарищи, развязывать гордые узлы. Много бед многим его приятелям сошли даром с рук, благодаря вмешательству и посредничеству Пети Квашнина.

– Ты чего меня? – кротко и кратко выговорил он, входя и приближаясь...

– Который час?..

– А это что! – отозвался Квашнин, указывая приятелю на большие часы, которые висели на стене прямо против него. – Это ты за этим звал, чтобы узнать где часы висят?!.. Гляди вон они... третий час... давно по домам пора.

– Нет... присядь... мне нужно... видишь ли, у тебя спросить... – начал Шумский странным голосом, не то серьезно, не то шутивно... Глаза его сияли грустным светом, а полуулыбка на губах скользнула так, как если б он собирался рассмеяться громко и весело.

– Ну, спрашивай...

– Ты сядь... сядь прежде...

– Да нешто дело какое?

– Дело, братец, да еще какое!..

– Ночью... вдруг...

– Да, вдруг... и ночью... Ты не переспрашивай, а слушай. Совет мне твой нужен.

– Совет... А? Знаем... не впервой... Хочешь, чтобы я тебе отсоветовал худую затею, для того, чтобы все-таки, наплевав на мой резон, поступить по-своему... Не впервой... Ну говори, что еще надумал. Спалить все Адмиралтейство, что ли?..

– Нет, ты не отгадчик, Петя... Я хочу у тебя спросить, где мне достать такого питья, от которого спят люди...

– В аптеке... А то и от вина спится тоже...

– Ты не балагурь. Мне нужно вто. Как оно зовется?.. Сонное питье... сонный порошок что ли? Ну? Дурман что ли? Мне надо опохмелить одну милую особу... Понятно сказал, кажется...

– Это уж не чухонку ли? – воскликнул офицер.

– Квашнин! – вдруг выговорил Шуйский глухо. – Я тебе два раза запрещал...

Но голос молодого человека оборвался от прилива мгновенного гнева. Лицо слегка исказилось и губы дрогнули...

– Вона как?! – удивился Квашнин, и, пристальнее глянув в лицо приятеля, он прибавил своим мягким и успокоительным голосом:

– Прости, Миша... Я ведь только сейчас понял. Я все думал, что это у тебя простая зазноба, каких сотни бывают... А ты видно всем сердцем втюрился... Прости, дальше так называть ее не буду... Ну, сказывай...

– Да... Это она... Ее мне надо так взять...

– Это распробезумнейшая затея!.. На этом ты, как кувшин, и головку сломишь! – тревожно вымолвил Квашнин. – И отец твой тебя не помилует и от государева гнева не упасет. Полно, Михаил Андреевич, ты знаешь, что я в этих делах на все руки. Сами вы меня называете любовных дел мастером. Но это... Но эдакое дело... С баронессой!.. Ведь ее отец друг и приятель другой, тоже баронессы, Крюднерши!.. Они оба к одной секте, сказывают люди, принадлежат; вместе на один манер и Богу молятся, и чертей вызывают... Оскорби барона, он к Крюднерше бросится, а та к государю, а государь за графа возмется, а твой отец за тебя... А ты в Ставрополь с черкесами драться улетишь с фельдъегерем...

Наступило молчание. Квашнин глядел в лицо друга во все глаза, широко раскрытые и удивленные, а Шумский понурился и задумался.

– Что ж я буду делать? – выговорил он, наконец. – Я ее так полюбил, как еще никогда мне любить никого... и во сне не грезилось...

– Любишь, а бегаешь от нее как черт от ладана... Не понимаю!..

– Как бегаю?! – удивился Шумский и, вдруг спохватившись, прибавил: – Да... да, помню... Это в собрании-то?!

– Вестимо. Когда я тебе сказал, что барон с дочерью приехали, ты бросил совсем невежливо свою даму среди танца и выскочил из собрания как укушенный, или как прямо бешеный.

Шумский начал весело смеяться...

– Странная любовь, – продолжал уже шутливо Квашнин. – Мы когда любим, льнем к нашему предмету, любезничаем, всюду выслеживаем, чтобы как повидаться... А ты наоборот... А когда барон был с дочерью приглашен государем смотреть парад, кто вдруг сказался больным и ушел с плаца... Ты думаешь, я это не заметил и не понял?!

– Как?! – удивился Шумский.

– Так! нешто я вру... Разве этого не было?

– Было. Но никто этого мне так еще не объяснял, ты один заметил.

– Так стало ведь правда! – воскликнул Квашнин, – что ты от баронессы Евы бегаешь, как черт от ладана. Ветхозаветный черт, совсем, братец мой, иначе поступил с первой «имени сего» особой... Он не бегал от нее, а за ней ползал в виде змия, покуда не совратил с пути истинного.

– Вот и я так то хочу теперь, не бегать от нее, а обратиться тоже в змея, тоже...

– Да. И будет тоже... Тех из рая выгнали, а тебя из Петербурга выгонят. Брось, родной мой. Ей Богу, брось! – ласково произнес Квашнин. – Ведь это одно баловничество! Не поверю я, чтобы можно было человеку без ума влюбиться в какую ни на есть красавицу, когда он ее раза три издали видел и ни разу с ней не разговаривал. Когда и представлялся случай, так удирает от предмета своего, как

ошпаренный кот из кухни. Все это Михаил Андреевич в романах твоих французских, что ты почитываешь, так написано... А в жизни нашей, истинной человеческой, так не бывает. Вздыхать издали на возлюбленную мы уже не можем – как наши деды могли...

– Ну вот что, Квашнин. Ты ходок по любовным делам. Мастер? А? Правда...

– Полагаю, что не хуже вас всех, – несколько самодовольно отозвался офицер.

– Ты мастер... Учитель... Нас всегда обучаешь... так ведь? Ну вот что... задам я тебе загадку... Я всякий раз, что встречаю барона Нейдшильда с Евой, где бы то ни было – спасаюсь от них бегом, как очумелый какой... Я признаюсь в этом. И ты это видел сам. Видел еще недавно на балу в собрании. Так ведь? Правда?

– Да. Я же тебе это и заметил.

– Ну, а вместе с тем, братец мой, я всякий почти день выдаю Еву и всякий раз подолгу с ней беседую... Оттого я в нее так и влюблен. Разреши эту загадку.

– Ничего не понимаю! Бегаю... выдаю всякий день?..

– Повторить, что ли?

– Зачем повторять. Слова я понял. Но если ты выдаешься с ней всякий день, отчего же ты всегда избегаешь их. Даже на Невский не идешь, когда тебя зовут гулять днем, во время катанья, боясь встречи... Ведь и это я заметил... Ничего не понимаю. Больно уже хитро. Что же, стало быть, ты тайком от ее отца выдаешься с ней?..

– Нет и отца, барона, выдаю всякий день, и ее.

– Ничего не понимаю... Понимаю только, что вы можете быть влюблены друг в друга, если видаетесь часто.

– Я в нее... Да... без памяти я люблю ее! – выговорил Шумский изменившим-ся голосом. – Но она меня... Она?!

– Ну... еще пуще...

– Ни капли... ни на волос не любит...

– Что-о? – протянул Квашнин.

Шумский не ответил ни слова, слегка отвернулся от приятеля и, схватив со стола брошенное перо, начал его грызть. Сильное волнение скользнуло по лицу его. Глаза сверкнули и померкли тотчас...

– В этом-то все и дело! – вымолвил, наконец, Шумский глухо. – Ну и давай мне...

Он запнулся и выговорил, как бы со злобой:

– Давай... дурману...

– Ну, нет, братец мой... В таком безумном и погибельном деле я тебе помогать не стану! – решительно произнес Квашнин, вставая. – Я тебя слишком люблю. Да я и не знаю, по правде сказать, где достать, у какой такой колдуньи, такое снадобье, чтобы опоить девицу... А потом еще скажу... Прости за откровенное слово... Я, в жизни случалось, одолевал свой предмет нахрапом, врасплох, чуть не силком. Но опаивать и в мертвом состоянии ее... Нет, прости, Михаил Андреевич. Это совсем мерзостно... Да и ты только так говоришь, а и сам на такое не пойдешь!

– У меня нет иного способа... Я ее люблю до страсти, до потери разума! – воскликнул Шумский. – А она на меня и смотреть не хочет... Она со мной охотно беседует и ласкова, любезна. Но чуть я единым словом промолвлюсь об моей к ней любви – она так и застынет, так ее и поведет всю или скорчит, будто

ледяной водой окатили с головы... Что ж мне делать? Ну, рассуди...

Наступило молчание. Квашнин пожал плечами, вздохнул и двинулся...

– Куда же ты?

– Домой... три часа... Да и всех пора разогнать. Они рады у тебя до следующего дня сидеть... Будешь завтра на позорище?.. Ну, на этом представлены новых немецких паяцев, что балаган поставили на Дворцовой площади?

– Нет, не буду...

– Отчего? Весь город собирается, билеты все уже с неделю разобраны! Да и у тебя билет взят...

– Не могу. И рад бы, да нельзя. Она с отцом там будет. Вчера сказывала, – отозвался Шумский задумчиво.

Квашнин развел широко руками и театрально наклонился перед товарищем...

– Ничего не понимаю... Видаешь обоих и отца и дочь, беседуешь... А когда где можно повстречать барона или красавицу, – бежишь, как от кредиторов...

– А дело, Петя, простое. Проще нет. После узнаешь. Ну, прости... И то пора спать. Скажи им там, что я уже в постели... Да... стой. Вот еще просьба... Возьми письмо, да завтра занеси в почтамт, тебе ведь мимо...

Квашнин взял конверт с письмом со стола и прочел адрес с именем Аракче-ева.

– Тятеньке!.. Родителю? Небось денег просишь?

– А то что же?.. О чем мне, кроме денег, писать этому дураку...

Квашнин тряхнул укоризненно головой, пожал руку Шумскому и плавно вышел из спальни. В квартире было уже пусто, тихо и темно. Гости, не простясь с хозяином, уже разъехались.

– Суший трактир! – подумал Квашнин.